

Если бы ты знал...

Автор:

Эльчин Сафарли

Если бы ты знал...

Эльчин Сафарли

Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого недостаточно?» В тот момент я ещё раз убедилась в том, что способна по-бабски приукрасить абсолютно всё – свою жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир. Женщины – прирождённые художники-декораторы. С кистью в руках и мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то подтираем, что-то замазываем. Только вот, как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с натуры, а на поводу у фантазий, желаний – гляди, сплошное несоответствие с действительностью.

«Если бы ты знал...» – это история одного женского отчаяния, о котором можно поведать только белоснежным листам дневника. Это история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново.

Эльчин Сафарли

Если бы ты знал...

Спасибо маме, Панде, Ей и моим бабушкам Соне и Анне

Когда есть такая болезнь, как онкология, – многолетняя, многомесячная, и все родственники больного об этом знают, – жизнь человека сразу меняется.

Появляется возможность повиниться, попроситься, доцеловать. В такой болезни есть свое достоинство – время. А в мгновенной смерти времени нет, а значит, и нет возможности что-то исправить.

Вера Миллионщикова, главный врач Первого московского хосписа

Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране.

Владимир Набоков

Часть I

Кларисса искренна – вот. Питер сочтет ее сентиментальной. Она сентиментальна – действительно. Потому что она поняла: единственное, о чем надо говорить, – наши чувства. Все эти умничания – вздор. Просто что чувствуешь, то и надо говорить.

Вирджиния Вулф, «Миссис Дэллоуэй»

Не дари мне на память пустыни – все и так пустотою разъято!

Федерико Гарсиа Лорка

1

У меня ничего нет, кроме себя самой. Все, что было, осталось там. Теперь не разделяю время на прошлое, настоящее, будущее. Только сегодня – в нем одном начало, продолжение и, скорее всего, конец моей жизни. Календарь с одной страницей. Так лучше. Трезво оцениваешь то, что имеешь на данный момент. Не оглядываешься назад и не заглядываешь вперед. Никакого самообмана. Иллюзия – это далеко не надежда, а надежда не всегда реальность. Это не

пессимизм. Принимаю жизнь как она есть. В немецком языке есть слово «hassliebe». Если по словарю, то оно переводится как «чувство, колеблющееся между любовью и ненавистью». Вот такое чувство я испытываю к каждому своему «сегодня».

* * *

По вечерам я хожу за печеньем. Миндальным. Любимым с детства. В круглосуточный магазин в соседнем квартале. Там вечно мокрый кафельный пол и продавщица с печально-влажными глазами. Однажды я не выдержала, спросила: «У вас все хорошо?» Она ответила с беспросветным разочарованием в голосе: «Такого не бывает, девушка». В тот миг я поняла абсурдность своего вопроса и правдивость ее ответа. «Все» никогда не бывает: если повезет, то достанется хотя бы четвертинка.

Миндальное печенье в этом магазине идет нарасхват. Домашнее, хрустящее, со сладкой горчинкой. Каждый день в полдевятого утра его приносит сюда пожилая иммигрантка из Европы. Складывает в кондитерском отделе семь бумажных мешочков с ароматным содержимым, получает деньги за вчерашние проданные и уходит. На прошлой неделе я встретила ее в дверях магазина. Как я ее узнала? По запаху жареного миндаля. У нее не было левой руки. А еще она улыбалась.

* * *

Я прилетела сюда, когда там для меня все закончилось. Один чемодан вещей, одна вечная непогода за спиной, одна я. Здесь тоже часто дожди, по ночам в основном, зато по утрам – солнце. Даже в январе. В этом городе нет углов. Повезло. Острота углов врезается в меня остротой воспоминаний – больно. Хотя, казалось бы, почему должно быть больно, если прошло? Овальные дома, оральные улицы, оральные светофоры. И оральная набережная. Отдушина. Только с морем не молчу. Со всеми остальными, на работе к примеру, говорю по надобности. Перед сном сижу на подоконнике, смотрю на пустую улицу. Пью чай с печеньем, думаю о странном. Например, о том, что люблю случайных людей. С ними у меня всегда много совпадений. А еще о том, что забыла о страхе потерять. Может быть, из-за того, что уже все потеряла?

Я умираю. Верно, конечно, то, что мы все умираем, но я знаю примерно, сколько мне осталось. Недолго. Совсем не страшно. Когда времени в обрез, глупо тратить его на сожаления, страхи, страдания. Неправда, что в таком положении оставшееся количество дней пытаешься насытить тем, чего было мало или вовсе не было до этого. Абсолютно нет. Хочется обычной жизни, некой середины между повседневностью и жизнью в целом. Дышать ленивым вечерним бризом, пить кофе на открытых верандах, смотреть в глаза жизни и не задаваться вопросом «А вдруг это неправда?». Вполне себе обычные желания, ничем не примечательные, не драматичные.

Для меня моя болезнь – не приговор, как принято о ней думать. Я не подсудимая, я не приговоренная, чтобы меня отправляли на эшафот и, насильно пригнув голову, набрасывали на шею петлю. Услышав диагноз, я не заплакала. Посмотрела на врача с аккуратно зачесанной назад сединой и сухо спросила: «Почему так рано?» Дура. Ты черт знает какая по счету пациентка с подобным диагнозом, поэтому сил на философию, поддержку у него уже не остается. Конвейер завершающихся человеческих жизней. Он развел руками, заговорил о возможностях современной медицины. Я отказалась: «Не смешите, доктор! Какая там у вас нанотерапия?! Не такие вы умные, чтобы обманывать судьбу!»

Вышла из клиники в раннюю весну. Мне вдруг захотелось набрать в пакет этой окрыляющей погоды, надеть его на голову и потуже завязать под подбородком. Надышаться до одури, до полного ощущения свободы. Я улыбнулась и в этот миг нашла ответ на вопрос, заданный врачу. Мое время жизни подошло к концу. Быть может, оно продолжится в другом месте, в другом обличье. Отпустить – не значит сдаться. Чаще всего это единственное верное решение, победа над обстоятельствами.

* * *

Я сняла квартиру в ста пятидесяти двух шагах от набережной. Две крошечные комнаты и два больших французских окна. Они исцарапаны с внешней стороны лезвием морозных ветров. Хозяйка признается, что квартира пустует практически весь год, только летом сюда вселяются туристы. «В квартале наш

дом называют “Сердце ветра”. Он, сорвавшись с набережной, буквально врывается сюда. Именно в окна моей квартиры, подлец. Стучится, царапает их, ревнует, если кто-то здесь живет, кроме меня. Я не выдержала, в прошлом году переехала отсюда. Не пугаю – заранее предупреждаю, чтобы потом вы не убегали, требуя деньги назад». Протягиваю хозяйке обговоренную сумму и снимаю с окна плакат «Сдается. 818-34-567-0, Сулеме».

В глазах Сулеме нет точки опоры, в них ветер Буэнос-Айреса, где она родилась, полюбила, похоронила двух дочерей и откуда бежала в Овальный город, чтобы похоронить себя прежнюю. Мы с ней в какой-то мере отражение друг друга, но я об этом молчу. Для нее хочу остаться рядовой туристкой, любительницей загорелых мужчин с порослью на груди, ищущей приключений на свою белую задницу. А как иначе? Не скажу же я ей: «Сулеме, я приехала сюда умирать». Никогда не забуду первую ночь в «Сердце ветра». Так хорошо мне давно не спалось. Посреди ночи проснулась выпить воды. Вышла на балкон. Там между ветками дерева с кривым массивным стволом висела луна. Она напоминала елочную игрушку, светящийся шар. И я вспомнила имбирные печенья бабушки на Новый год. Детство – это единственное, по чему я скучаю. Вру. И еще по нему.

* * *

После работы спешу на эстакаду. Она уходит глубоко в море, нужно около получаса, чтобы дойти до ее конца. Туда мало кто доходит – незачем и опасно. Даже в безветренную погоду там волны – обязательно смочат волосы, зальются в туфли. Такого красноречивого моря я еще не встречала. Оно сине-зеленое, пенистое, угрюмое. Рыбаки не любят его за мутное нутро, разорванные сети. В нем много рыбы, но оно не хочет от себя что-либо отрывать. «Мне от тебя ничего не нужно, слышишь?! Я просто посижу рядом». Старая сырая скамейка эстакады, ветер закрывает мне лицо моими же волосами. Мысленно окунаюсь в дни, которые не до конца осознала, чтобы отпустить. В Овальном городе мне предстоит вернуться туда, откуда пришла. Отпуская прошлое, не раз совершаю бесконечный круг, в котором стрелки, доходя до конца, начинают путь сначала. Но каждый раз этот путь другой – легчает, освобождаюсь, и дорога уже не кажется такой утомительной, как в прошлый раз. Вот оно – то самое исцеление перед долгожданной остановкой.

Ноги промокли. Но я не боюсь холода.

Я постриглась почти наголо. Купила машинку, скосила свои рыжие волосы – полегчало. Волосы тоже воспоминания. В детстве бабушка Анна, расчесывая их, говорила, что они – оранжевый океан. «Ты вся в прабабку. У нее тоже были такие же густые, сильные локоны. И цвет не яркий, а темный, насыщенный». В последнее время мои волосы поблекли, потеряли силу. Жалкая пародия на былую гордость. Теперь их нет. Теперь многое иначе. Но мне бы кое-что из того времени: хочу, чтобы все было просто и ясно, как тогда, чтобы было понятно, что и для чего. Сейчас приближаюсь к чему-то иному – совсем не похожему на привычные пути. Хотя, может, это заурядное стечение обстоятельств без каких-либо потайных смыслов. Обычная прогулка по нечетной стороне улицы.

В том времени я любила всего лишь одну улицу – Белесой Офелии (так ее назвала про себя), ставшую для меня теплой, как махровый халат. На ее поворотах поняла, как сильно люблю его. Я тогда молодая была, романтичная, покупала для фантазийных летящих платьев шифон и мечтала увидеть, как за две недели до календарной весны распускаются крокусы в Лондоне. И вот на той самой улице Офелии мы с ним, тогда вроде бы друзья, были на каком-то мероприятии. Он пил, улыбался мне сонно, а я, трезвая и влюбленная, смотрела на него, такого вольного и открытого, желая сказать: «Отпусти себя. Не бойся, я поймаю». Потом мы вышли в ночь цветущего мая, переступили через клубок смятых вчерашних газет, я остановила такси и уже сажала его, нетрезвого, в машину, как вдруг он схватил меня за руку: «Поехали со мной. Пожалуйста». И я поехала. В машине он положил голову мне на колени, заснул. А я не выдержала и поцеловала его в висок. В тот самый миг, когда водитель свернул на Воскресную площадь.

Собираю волосы, которые он любил, в пакет из-под яблочных чипсов, заворачиваю и бросаю в мусорное ведро.

* * *

У подъезда Овального дома нет дверей. Вместо них цветная клеенчатая занавесь, так похожая на шторку в ванной. В ветреную погоду она превращается в развязанные паруса, которые надуваются и шумно бросаются из стороны в

сторону. Их волнение слышно даже на верхнем этаже – соседи привыкли к барабанам ветра. Хорошо засыпаю в шумную погоду. Не люблю ночную тишину за окном, разве что летом, на даче, когда темное молчание размечено цикадами и дальними вздохами бриза.

Я боюсь вслушиваться в тихую ночь. В ней то и дело слышится его голос, по которому скучаю, не признавая этого в дневное время суток. Хорошо, сейчас холода – окна закрыты. Да уж, жить настоящим днем – все равно что жить на войне. Вечная борьба с атакующим прошлым. Лучше не слышать ночи. В комнате с закрытыми окнами звуков предостаточно – бежит вода по трубам, соседи ворочаются в кроватях, подъездные занавеси раскачиваются с треском, и Пако поскуливает во сне. Приблудный пес, белый, с крупными лапами. Его хозяйка, врач-хирург «золотые руки», умерла два года назад после сложной операции. Сердце не выдержало переживаний. А дочь ее выгнала собаку на улицу, продала трехкомнатную квартиру и уехала с бойфрендом на Сицилию. Теперь Пако кормит весь двор. А я пою ему песню, когда встречаю в подъезде, где он ночует: «Эй, парень, не грусти, дождь не смоет солнце – у него силенок не хватит. А мы с тобой под Новый год сотрем все старые счета и убежим в края, где речь не та, и счастья с горкой, и в мае созревают персики...» Малоизвестная негритянская песенка. Пако нравится – вон как виляет пушистым хвостом.

4

Я провожаю себя прежнюю. Пыхтят поезда, суетятся люди. Откуда-то из недр вокзала женский голос со славянским акцентом читает расписание. Представляю себе его обладательницу в тесной кабинке с коричневыми стенами. Красивые полные ноги, на круглом лице разлита горечь неоправданных надежд и помада, конечно, красная. Небрежно растекшаяся в уголках губ. Отключая микрофон, она напевает себе под нос «у меня проездной...», неуклюже имитируя дребезжащий голос Гребенщикова. А еще у нее за спиной микроволновка, где подогреваются шоколадные печенья. Лишний вес для нее – способ согреться в холодную погоду. Смелая правда женского одиночества.

Я стою на линии уходящих составов и понимаю, что в теперешнем настоящем мне не хочется никуда уезжать, убегать. Нахожусь в том самом месте, откуда можно начинать отсчет – сперва назад, чтобы еще раз понять, как важно идти

вперед. Поэтому часто я мысленно возвращаюсь туда, откуда все начиналось. И после каждого путешествия в обратную сторону я ценю ту трезвость мыслей, которую обрела сейчас. Может, это и плохо. Но зато ноль самообмана.

Помню, как раньше я грустила, когда вдруг какая-то цель моей жизни становилась бессмысленной. Будь то мужчина, карьера, город. На этот случай у меня был даже некий абстрактный музей бессмысленных идей, куда я обращалась, чтобы определить грядущие планы. Такое спасение. Противостояние юной души непогоде времени.

Стать бы чистым листом, принять все пережитое и оставить позади. Смотрю на отъезжающие составы – и заполняю их вагоны мечтами, ощущениями, желаниями и попытками их достижения той рыжей девушки из Города непогод. Я часто прибегала к бабушке со слезами на глазах. Ну, в такие дни, когда «он меня не любит, я никого не люблю, все надоело, все виноваты». Бабушка откладывала в сторону сухие листья, которые собирала для лечебного чая, садилась рядом и запускала пахнущие листопадом пальцы в мои волосы. «Солнце, а разве ты не знаешь, что все делается к лучшему? Просто очень медленно. Надо идти дальше и не тащить с собой чемоданы, набитые прошлым. Рук не хватит, и выдохнешься на полпути». И я ей верила.

Сейчас бабушки нет. Остались только воспоминания. Верить воспоминаниям, конечно же, можно – это ведь твое, прожитое, пережитое. Но частые обращения к воспоминаниям сбивают с новой дороги. Так можно забыть о настоящей весне, навсегда оставшись в, пусть и самой счастливой, осени прошлого.

* * *

Я посудомойка. С десяти утра до шести вечера коротаю время перед раковиной, в оранжевых резиновых перчатках, в окружении фарфора и снежно-перламутровой пены. Полюбила эту работу, да и выбирать не приходилось – гражданке другой страны с туристической визой на приличную должность не устроиться. Безработица в Овальном городе процветает. Зато здесь много магазинов обуви и нижнего белья. Обилие мотоциклов и транспорт дешевый. А в автобусах можно запросто не платить, никто не проверяет. И повсюду мандариновые деревья, город пахнет ими, особенно в разгар осени, когда цитрусы созревают. Правда, их быстро срывают – приезжие обдирают деревья и увозят желтые плоды в свои края.

Я прихожу на работу рано, когда утреннее солнце сквозь шторы слепит глаза, когда стрелка часов еще не заползла за цифру девять, на улицы выходят продавцы свежей зелени. Добродушная официантка Крис выжимает для меня мандариновый сок и говорит, что если в него подмешать облепиховый сироп, то он станет цвета моих волос. Как жаль, что я их срезала. Крис хочется поговорить. Она видит, как ранним утром я пишу дневник, пока нет руководства и посетители не хлынули. «Тем, кто счастлив, некогда писать дневники, они слишком заняты жизнью... Кстати, дорогая, бандана тебе идет». Я благодарю за фреш кивком, не вступая в беседу. Про себя, конечно же, отвечаю. «Все находится во власти секунды, доли крохотной частички времени, о чем я раньше часто забывала. Теперь хочу все запомнить, чтобы отпустить на последней странице. Все скопом».

Я сижу за столиком перед большим окном, моросит дождь, едва проглядывает унылое солнце. В Овальном городе начинается новый день. Вон темнокожая попрошайка Меме уже на посту – подходит к людям на автобусной остановке, осыпает их комплиментами и как бы невзначай просит на булочку. Она говорит столько добрых слов, что подаешь ей непроизвольно. Вон старичок Джавидан привозит на велосипеде свежие тюльпаны в лавку под домом напротив – голубые, розовые, желтые. Проходящая мимо девушка с надписью «I am loved» на рюкзаке останавливается, внюхивается в цветы и, чему-то улыбнувшись, продолжает путь.

Я погружаюсь в этот город все глубже.

5

Начо приглашает на булочки с сушеным инжиром. Я вежливо отказываюсь: хочется побыть одной вечером, посидеть на лестницах подъезда рядом с Пако, уплетающим принесенные мною куски шашлыка. Каждый вечер в ресторане я собираю для него остатки еды с тарелок. У Пако почти не осталось зубов, только клыки, поэтому кормлю его мягким. Он игривый, бодрый, гордый, но все равно в глазах вселенская усталость.

Перед тем как Пако пригрелся в нашем подъезде, он долго скитался по улицам Овального города в поисках хозяйки. Говорят, его не раз избивала ребятня из соседних районов, потому что Пако не подчинялся и рычал, когда пацанье пытались его приручить. Начо садится на ступеньку ниже, гладит морду пса. «Я прошлой зимой подобрала его у мусорной ямы, выше Мексиканского квартала. Истекал кровью, бедняга. Какая-то сволочь разрешила ему правую сторону морды – от пасти до уха. Видишь шрам? Хорошо, я увидела, отвезла к ветеринару. С тех пор, где бы он ни встретил меня, несется, руки облизывает. Благодарит. Все помнит».

Начо из Сербии. Она носит цветастые платки, ярко подводит серо-зеленые глаза и растит троих детей в однушке с фиолетовыми стенами. Все трое от разных мужчин. Последних она теперь терпеть не может. «Меня в день Святого Валентина поздравляют дети, дарят сердечки со словами “самому любимому человеку”. Вот где настоящее счастье, а не между ног у какого-то козла».

В молодости Начо работала клоуном в передвижном цирке «Шен-Рубин». Им руководил одорукий Игнасио Фрага, первый укротитель львов в Аргентине, потерявший руку в драке из-за женщины. «Мне было семнадцать. Ему сорок два. Я любила его тайно, была рядом с ним, убирала клетки в “Шен-Рубине”, готовила еду, стирала. Однажды ночью пришла к нему и сказала: “Я хочу, чтобы вы стали моим первым мужчиной. Я люблю вас”. На “я люблю...” разревелась. Игнасио налил мне стопку коньяка, обнял по-отцовски и проводил обратно в комнату. Потом я ушла из цирка. Из-за него. И из-за животных, лишенных свободы. Люди на арене цирка – олицетворение силы и отваги, но замученные звери – гимн человеческой жестокости и страсти к наживе».

Начо спрашивает: «А почему ты остригла свои солнечные волосы?» – «Избавляюсь от лишнего. Напоследок». – «Напоследок?» Я закуриваю. Дым на мгновение замирает в воздухе, а потом его прогоняет ветерок, снова вернувшийся в Овальный город. «Север, что случилось?» Я криво улыбаюсь: «Умру скоро». Начо встает, хватая меня за руку, быстрым шагом тащит к себе: «Давай-ка лучше по булочке с чаем. Поверь мне, полегчает... Смерти боишься?» – «Я не смерти боюсь. Я боюсь растолстеть от твоей стряпни». Любопытный Пако бежит за нами.

* * *

Температура 39,6. Знобит, в горле пересохло. Белая простыня подо мной превратилась в тонкий кусок льда. Расползающаяся по ниткам полудрема. Смотрю на дверь комнаты – из серо-стеклянной она перетекает в деревянно-коричневую. Тихо приоткрывается, и в проеме появляется бабуля с горячим чаем, в котором развела смородиновый припас. Сейчас она разотрет меня прохладным уксусом, я крепко засну и проснусь утром снова сильной.

Бабушка садится на край моей кровати, ее волосы – цвета низкого пламени в камине, они напоминают стебельки одуванчика – такие же нежные, чуть скользкие. «Солнце, ты просто забудь на пару минут о том, что ты вечно не там, где нужно. Расскажи мне». Мы никогда не спрашиваем у бабушек, о чем им рассказать. Нам всегда есть что рассказать, просто мы не всегда рассказываем. Ну как же, – я выросла, я сильная, сама справлюсь! Но так, как выслушает бабушка, не выслушает никто, даже мама. Что бы она потом ни сказала, как бы ни бранилась. Как бы ни отмалчивалась.

«Бабуль, я должна была уехать. Пока не осознаю, что именно поменялось. Но есть ощущение, что я вот-вот закрою дверь и скоро окажусь у порога новой, открытой». Я рассказываю долго, хрипло, торопясь. О том, что в Овальном городе вкусные персики, что нахожу здесь невероятно желанную тишину, что почти научилась не помнить о бывшем, но в глубине души жалею, что не стала мамой.

Она слушает молча, тревожно. Жар покидает меня вместе с высказанным. Дышится легче. Вдруг бабушка прерывает меня, будто у нее заканчивается время и ей пора. «Север, самое страшное в жизни – не успеть. Ты знаешь... Я рядышком». Это были те самые слова, которыми я хотела ответить Начо, когда она спросила, боюсь ли я смерти.

6

С трудом вышла на работу. Врач предупреждал, что состояние будет ухудшаться с каждым днем. Сначала симптомы вируса, потом боли в животе начнут усиливаться. «Вы не сможете их вытерпеть. Поймите, необходима госпитализация. Нужно поддерживать организм. Вы все делаете себе во вред». Доктор еще долго что-то объяснял про упадок иммунной системы и риск потери

зрения – я не вслушивалась.

Я не прятала голову в песок. Не строила из себя сильную женщину, утверждая, что болезнь – это прежде всего состояние души, а потом физическое выражение. Я осознавала реальность: мне поздно ошиваться по больницам, все закончится совсем скоро, а продлевать агонию за счет лекарств я не хочу. Всем, что дается, вроде как нужно распорядиться и управлять. А чем дальше, тем меньше желания этим заниматься. Вместо этого хотелось дышать свободой, не думать о последствиях. А только о том, что со мной, вокруг меня.

Пока меня мучает температура и общая слабость. Стараюсь привыкнуть к этим недомоганиям, теплее одеваюсь, пью витамины и хожу на работу через день. Администратор ресторана установил такой график: день я, день афганка Сакина. Она третий год живет в Овальном городе. Собрала деньги и недавно оформила фиктивный брак. Ждет со дня на день получения гражданства.

Сакина говорит, что Аллах направил ее сюда, в край, где собрались сотни народов и наций, чтобы она научилась верить в себя. Каждая трудность – шаг на этом пути. «Отец меня оберегал. Я росла в достатке, не выходила за пределы нашего дома, училась на дому, общалась только с четырьмя сестрами да родственницами. Думала, что в жизни все очень легко, как в восточной сказке. Что меня ждало? Замужество, дети, старость. А я всегда хотела общаться больше, узнавать новое. Папа запрещал. Однажды я сбежала из дома. Оказалась здесь. Работаю, храню честь, хожу на курсы французского. Аллах направляет меня. Надеюсь, я на правильном пути. Что ты об этом думаешь, сестра?»

Мне не хочется ее огорчать своими мыслями. Она слишком красива и чиста для моего мира. «Я вот думаю... хотя ничего я не думаю. У всех свои рецепты, Сакина. Тебе не одиноко в чужом городе?» – «А я не одна. Аллах со мной». А кто со мной? Призраки прошлого?..

* * *

Я любила мужчину, которому смотрела в глаза и про себя говорила: «Боже, как ты мне нужен!» Хотя на тот момент он был рядом и вроде никуда уходить не собирался. Ушел чуть позже. Спустя три с половиной года. И я осталась наедине со своей любовью – куда было ее девать? Психолог посоветовала направить эту любовь на себя. Я не сразу поняла. Даже переспросила, мучаясь желанием

вульгарно пошутить. «Радуй себя ради себя же. Полюби себя. Займись спортом, покупай с каждой зарплаты по платью и так наконец откроешь себя для новых чувств». Честно скажу, я пыталась это делать на протяжении полугода. Аж целый шкаф новых шмоток набрался. Но в итоге все равно пришла к тому, что по-прежнему люблю его и ничего с собой поделаться не могу.

Эта любовь должна сама пройти, хм, нет – скорее остыть, перерасти во что-то другое. С другим направлением, но точно не к себе. Да, мы, бабы, так по-дурацки устроены. А кто не так... ну, наверное, им повезло! Мне не повезло.

За что я его любила? Он умел заботиться. Он не помнил наших дат, избегал встреч с моей семьей, не делал красивых признаний. Но он был рядом, крепко держал за руку. Покупал мне витамины, варил куриный бульон, когда простужалась. Обнимал, когда приходила грустной с работы, ни за что не упрекал. Несмотря на всю хваленую независимость, каждой женщине становится так тепло, когда мужчина берет ее под свое покровительство. Нет, это не когда хочется свернуться калачиком у него под боком. Скорее это вдохновляющее ощущение, когда внутри тебя просыпается женщина. Щекочет. А мы ведь привыкли полагаться на себя, вне зависимости от состояния личной жизни.

Он приучил меня к мужской заботе, а я приняла ее за гарантию будущего. Сейчас думаю: было ли то тепло, к которому я так привыкла, искренним, настоящим, направленным конкретно на меня? А может, я была слепа? Хотя какая разница. Не держу на него зла. И просто до сих пор люблю.

7

Я приехала сюда не для того, чтобы прятаться от воспоминаний, проливать слезы только над репчатый луком и ждать, когда болезнь уничтожит меня. Я приехала сюда прежде всего жить. Почему уехала? Чтобы больше не встречать никого, связанного с призраками прошлого, и не наткнуться на предметы из прошлой жизни. Я не хочу подсказок, напоминаний. Буду сама перелистывать страницы, в произвольной последовательности, чтобы понять, с чем пришла в день сегодняшней. И это не пафосный треп из жизнеутверждающих книжек вроде «Обрети себя за 24 часа».

Вообще-то перед смертью принято задумываться о вечном, о красоте утраченного и прелестях настоящего. Во мне нет такого предсмертного пробуждения любви к миру. Мне хочется только мира с собой. А для этого не обязательно иметь смертельную болезнь. Моя стала лишь толчком к этому; для кого-то таким же толчком может стать ничтожная причина. К примеру, угрожающе отклоняющаяся стрелка напольных весов.

Слишком долго я даже не была знакома с собой, слишком долго бежала впопыхах на поводу у стремления ухватить больше положенного. Слишком долго лила слезы над тем, что так и осталось нетронутым, несдвинутым, неприобретенным. Пора было остановиться у этого потока, присесть на берегу, неторопливыми движениями расчесать гребнем волосы. Продолжить путь маленькими шагами, не забывая радоваться: жить, дышать, смотреть, слушать. Все без спешки.

Сейчас мне, как никогда раньше, хочется быть рядом с людьми. Именно поэтому я устроилась на работу, хотя с деньгами, вырученными от продажи родительской квартиры, я могу жить в Овальном городе в роскоши несколько лет. Здесь я сняла жилье в самом шумном, переполненном доме, где из окон несется джаз и пахнет свежим лимонадом.

Как мне было тяжело с грузом исписанных тетрадей, а в Овальном городе я с легкостью дышу, теряюсь меж разноцветных домов в росписи заката, бреду домой вдоль дороги в желтом свете фонарей и чуть ежусь от ветра с моря. Внутри меня сейчас одна негасимая лампочка. Раньше она то затухала, то зажигалась снова. Давала свет урывками. А сейчас не меркнет ни на минуту. Мой внутренний маяк.

* * *

Я объедаюсь жареными персиками. Они растут круглый год в Желтой деревне, расположенной в ста пятидесяти километрах от Овального города. Поэтому здесь персики продаются на каждом шагу и просто неприлично дешевы. По будням уже в шесть утра мальчишки из Желтой деревни приезжают с полными ведрами и, слоняясь по улицам, выкрикивают: «Медовые персики сорваны, медовые персики сорваны!» Я, не покидая своей уютной квартирки, спускаю с балкона веревку, к которой привязана корзинка с деньгами за килограмм, и

маленький продавец складывает в нее отборные «медовики». Они действительно такие сладкие, что даже в горле першит.

Недавно повариха Сома из нашего ресторана объяснила мне, что жители Овального города не едят зимние персики в свежем виде. Они их жарят. «Девочка моя, ты с ума сошла? Диабет заработаешь! Персики из Желтой деревни можно есть свежими только в летние месяцы. Зимой их обжаривают и подают с соусом. При жарке сахар из персиков вытекает».

Сома родом из Желтой деревни, где солнца вдоволь все двенадцать месяцев. Там теплую гущу крепкого кофе наносят на волосы, отчего совсем нет седых людей. А еще там недолюбливают белокожих, хоть «желтые» и говорят, что внешнее не выражает внутренней сути. Я спрашиваю у Сомы: «Значит, и ты недолюбливаешь меня?» Она, нарезаая цукини кружочками, отвечает: «Совсем нет, я же еще в детстве оттуда уехала! Но я все равно не люблю слишком часто употреблять слово “люблю”. К нему нельзя привыкать».

Дома сильно нагреваю сковороду, обжариваю персики на оливковом масле. Предварительно нарезаю их на половинки, аккуратно вынимаю косточку и втираю в мякоть молотый красный перец. Взбиваю густые сливки, поливаю ими жареные «медовики» и сверху посыпаю козьим сыром. «Ты только подавай их теплыми и сыра на жалей. К персикам мы обычно предлагаем несладкие булочки с изюмом. Получается еще вкуснее».

Сома обещает поделиться со мной еще парочкой рецептов, если я приглашу ее на «наши» пирожки с капустой: «Я их однажды давно попробовала, у нас татарка работала... Вкуснятина! Но у меня так не получается». Мы договариваемся о встрече в конце следующей недели, и я усиленно пытаюсь вспомнить, как же бабушка готовила пирожки.

Давно не плачу. Я не давала себе установок «ты должна быть сильной», не боролась с печальными мыслями, не бодрила себя искусственно. За время пребывания в Овальном городе я заметила, что освободилась от страха опустить руки. Пусть они находятся в том положении, в каком удобнее в тот или иной

момент. Наверное, в этом и есть настоящая сила, которую обретаешь через позволение себе слабости.

Невозможно проснуться утром сильным человеком – я хотела бы так, но невозможно. Зато можно перестать биться головой об одну и ту же стену и сменить направление движения. Если нет дороги на запад, тогда лучше ехать на восток. Земля в любом случае круглая – рано или поздно каждый придет к тому, к чему должен прийти. Правда, пока я не знаю, где моя конечная остановка.

Но зато знаю, чего хочу, – может, это и есть самая главная цель, итог, точка в конце сложноподчиненного предложения? Освободиться. От упущенного, неразделенного, невысказанного и, казалось бы, непреодолимого. Это мое лекарство от самой что ни на есть настоящей болезни, которую не способен вылечить ни один врач. Никто, кроме меня самой.

Конечно, эксперименты над собой стоят очень дорого, никто ведь не знает, каким будет результат, но лично мне терять нечего...

Я всегда была веселой. Это я к тому, что еще каких-то десять лет назад на меня не давил груз подобных мыслей. Однако я не была легкомысленной и не избегала грусти с помощью болтовни в компаниях и прослушивания зажигательных песен. Я задумывалась о том, что происходит вокруг меня, но не закидывалась на этом. Храбро плыла по течению, не пытаюсь менять курс. Решала по ходу мелкие ежедневные задачи, а все более масштабные постепенно разруливались сами собой.

Я будто наполовину рассыпалась, когда потеряла бабушку с дедушкой, а следом и маму. Потом полюбила и рассталась, а еще позже – полюбила и ушла. Рассыпалась еще на четверть. Так и живу оставшейся четвертинкой – изрядно утратив легкости бытия.

Сейчас, когда смотрю на свою фотографию из прошлого – улыбающаяся рыжая девушка в обнимку с дедушкиной таксой, – не могу вспомнить, каково мне было тогда. Будто это долгое время существовал какой-то параллельный мир, гармонично вплетенный в реальный. И вот однажды утром я открыла глаза, встала с кровати, пошла умываться и, посмотрев на себя в зеркало, поняла, что другого, параллельного, мира больше нет. И даже, может быть, никогда и не было.

Наверное, это хорошо, и так и должно было случиться, чтобы, встретившись лицом к лицу с тяжелым диагнозом, принять его достойно, без крайностей, без попыток – всегда тщетных – найти утешение в чужом сочувствии.

* * *

Утром в Овальном городе звучат патефоны. Звуки старых песен раскатываются по узким улочкам колесами пластинок, чуть исцарапанных иглами времени. Пожилая дама из дома напротив начинает свой день балладами Ламинсы – смуглой певицы с золотистыми бусами на гусиной шее, поющей о «радостной тоске». Когда Начо рассказала мне о Ламинсе, я подумала: как можно радоваться тоске? С ней либо смиряются, либо сражаются. Но радоваться? Нет, такое мне еще не знакомо!

А потом я ее услышала и согласилась, что тоска может радовать. У нее есть песня «Saria llorando»[1 - «Плачет Сариа» (исп.)]. Моя и словно для меня написана. Начо тоже больше всех ее любит. В ней поется о судьбе ткачихи Сарии, которая с трудом вырастила дочь, желая ей другой судьбы, отличной от своей. Чтобы ее не бросали мужчины, чтобы она не видела войны и убитых слонов.

Но дочь Сарии повторяет судьбу матери. Теряет мужа во время волнений в Чили, остается одна с ребенком и идет работать к матери, потому что в стране война, голод и кондитеры никому не нужны – в городе давно нет праздников. И пожилая Сариа плачет, вымаливая для своей дочери силы, которые той понадобятся в жизни, так похожей на материнскую.

«Иногда просто не верится, что все, пережитое тобой так остро, может повториться еще в чьей-то жизни... Об этом Ламинса поет в “Saria llorando”, ты уловила, Север? Мы же всегда уверены в исключительности своих чувств и опыта. Нам кажется, что только нам так не везет, только нам такое дается и только у нас это продолжается так долго. А в жизни все поровну. Если ты обретаешь любовь – значит, кто-то где-то ее потерял. А когда ты ее теряешь, то, значит, опять-таки для кого-то. Поэтому я не верю в любовь долгую, предположим, на шестой год совместной жизни. Это уже давно не любовь. Она преобразовывается во что-то другое. Уважение, близость, сопереживание».

Начо заваривает для меня кофе, и я думаю о том, что моя последняя любовь не успела во что-либо преобразоваться. Она осталась во мне. Раз и навсегда. Пожизненно.

9

Когда врач поставил мне диагноз, я не знала, как себя вести. Как выйти из больницы, доехать на метро до работы, зайти в офис и улыбаться как всегда, как обычно, когда мы с девочками собирались в послеобеденное время в курилке.

Я стояла в полупустом больничном коридоре, прислонившись к холодной стене, и пыталась вернуться в реальность. В жизнь, которую отнимает у меня болезнь. Я не плакала, не звонила двоюродной сестре, не думала о лечении. В тот момент я почему-то ушла в воспоминания о детстве.

Когда мне было пять лет, мама отправила меня к бабушке. Она жила на нижней Волге, под Астраханью. Спокойная деревенька, по которой круглый год носится лихой ветер, а воздух такой сладкий, что его хочется собрать про запас, в банки и ведра. Чтобы хватило надолго, до следующего приезда.

А еще там по осени перерабатывали помидоры. Протирали их через сито в томатную пасту. Она славилась в Союзе. Так вот, после обработки помидоров красные шкурки высыхали и, сворачиваясь в тонкие трубочки, разлетались по тамошним улицам. Сколько бы их ни убирали, все равно ветер, играя, перекачивал их по земле, и дороги около бабушкиного дома были красно-оранжевые, шелестящие.

В тот самый миг мне так захотелось вырваться из мрачной больницы и вернуться на нижнюю Волгу, к бабушке! К каждому моему приезду она пекла вафли с медом.

Я вышла из здания больницы, села в автобус и поехала домой. Проспала шесть дней, а на седьмое утро проснулась и снова пошла к врачу. Он посоветовал пообщаться с людьми, которым медицина бессильна помочь: «Надо говорить об

этом, а не замыкаться в себе».

Я взяла координаты нескольких его пациенток, но встретила только с одной из них. Валентина. Сорок два года, рак мочеполовой системы. Я приехала к ней домой, где-то в районе Каширки. Она лежала бледная, но улыбалась. Вокруг нее – две дочери и сын, самый младший в семье. Восемь лет. Увидев меня, он спросил: «А мама умирает?» Я присела на корточки, обняла его: «Мамы всегда с нами. Вот здесь, в сердце». Мальчик прижался ко мне крепче, прошептал на ухо: «Я тебе верю». Это был мой четвертый год без мамы.

Валентина не пила воду ей только смачивали губы. Химия лишила ее волос. Она не спросила моего имени, не поинтересовалась моей жизнью. Называла меня «девочка» и сжимала мою руку, когда говорила: «Знаешь, чего мне хочется, девочка? Отправиться к берегу океана, забыть о лекарствах, врачах, процедурах. Гулять по набережной, думать, что я еще могу и должна сделать в жизни. И воздух пусть там будет влажный, чтобы не мучила эта жажда. Если у тебя есть такая возможность – плюнь на все, уезжай, девочка».

Два месяца я продавала квартиру, месяц получала визу, еще полторы недели не решалась купить билет. В один конец.

* * *

Купила поводок для Пако. Надела на его мохнатую шею, и пес заскулил, завилял хвостом. Наверное, тоже вспомнил детство, хозяйку, дом, где любили не из жалости, как брошенного, а по-настоящему, как члена семьи. Накормила его сухим кормом. Сначала он ел из вежливости, без особого аппетита, а потом, видно, вспомнил давно забытый вкус и энергично умял второй стакан.

Сегодня поговорю с соседями, если они не против, заберу Пако к себе. Мы привязались друг к другу, мы нужны друг другу – два случайных одиночества.

Сегодня выходной. На работу не нужно. На улице совсем не холодно, словно повернули рубильник, включающий весну. Утреннее солнце играет в темных волосах прохожих, лакируя их. Я нес в руке стаканчик горячего американо с сиропом, порывисто шагаю в сторону набережной. Пако радостно прыгает рядом, улыбается до ушей. Неужели бывает любовь с первого взгляда по

отношению к городу? Такая глубокая любовь, а не туристическая очарованность? Как это происходит у меня? Когда иду по незнакомым улицам и полностью присутствую в них, не улетаю мыслью куда-то еще. Наоборот, ощущаю покой и гармонию с окружающей средой – хочется много гулять по утрам, все отчетливо видеть, вникать и оставлять на воображаемой карте кварталов, закоулков пометки «мое место». Я давно так делаю. У меня с Овальным городом сложилось сразу – может, из-за того, что я здесь ненадолго?..

Он не ревновал меня к городам, полюбившимся в прошлом. Не просил предъявить документы, не пугал трудностями. Сразу принялся демонстрировать свою красоту, правда, не раскрываясь до конца, интригуя, намекая, что все самое красивое – впереди.

Я полюбила Овальный город еще и за то, что здесь каждый может найти что-то свое. Не обязательно свое дело, но уж точно – своих людей.

10

«Я не особо общительная в последнее время. Но по молодости любила рассказать о наболевшем. Молчать не могла, хотя понимала, что молчание никогда не обернется против меня. Внутри кипело, да и слушателей вокруг было немало. Они вроде сопереживали, держали за руку, что-то советовали. Я при них же ругала себя за назойливость, а они меня крепко обнимали: мол, Начо, не носишь, мы тебе рады!»

С годами только стала понимать, что мало кто кому-то до конца рад. Это не говорит о том, что люди подлые, а время плохое. Просто у каждого своя жизнь, в большинстве своем люди эгоисты, никто не хочет делить печаль ближнего – своей хватает! Теперь я редко кому открываюсь, а если и открываюсь, то сама себя останавливаю. Даже и так легче. Буквально пару слов скажу, слезу пущу вином запью, закурю – и проходит. Когда ничего ни от кого не ждешь, помощь приходит как чудо, а если рассчитывать на других – сплошное разочарование».

Посуда в квартире Начо, как и стены, фиолетового цвета. Даже турка с кофейными чашками. «На мое совершеннолетие Игнасио, мой циркач, подарил мне бирюзовые гиацинты. Можешь себе представить? Не знаю, где он их

откопал, но такой красоты я никогда не встречала. И томик Лорки к цветам. Когда я сбежала из цирка и ехала на поезде в Овальный город, я всю дорогу читала стихи – и плакала, плакала, плакала. Навзрыд. Спустя двое суток добралась сюда. Умылась, вышла из вагона, оставив маленькую книжку у окна. Шла по городу, а в голове вертелись строки: “Не дари мне на память пустыни – все и так пустотою разъято”. С тех пор больше не плачу».

У моей соседки глаза большие и тревожные, как у оленя, длинные черные брови и высокая шея, на которой завязан бордовый шарфик. Под ним прячет послеоперационный шрам – удаляли зуб. Она отрезает мне кусок виноградного пирога и громко, хрипло кричит на непонятном языке в комнату. «Оболтусы, им завтра в школу, а они все еще перед телевизором! Вот сейчас встану да выброшу его с балкона! И волосы всем повыдергаю!»

Я не привыкла к подобным мерам воздействия, удивляюсь, но молчу. Южные женщины другие, резкие на слово, беспощадные в отношениях с мужчинами, могут поколотить детей, но при этом остаются щедрыми в любви и всегда готовы расправиться с тем, кто угрожает их семье.

«Я, когда полоснула Грека по животу, чуть за решетку не угодила. Повезло, что судья женщиной оказалась, – прониклась, оправдала. Я увидела, как этот сукин сын щиплет за задницу мою старшую. Сначала я устроила головомойку ей – за то, что не рассказала мне об этих приставаниях. Потом заперла детей дома и пошла выяснять отношения с этим ублюдком. С ножом. И убила бы, но потом вспомнила, что в ответе за своих сопляков, пожалела их. Красивый он был, как бог, но гнилой внутри оказался».

Начо курит крепкие сигареты без фильтра, красит длинные ногти вишневым лаком и носит маленький складной нож на роскошной груди: «У нас здесь мужики с избытком тестостерона. На белокожую, да еще и приезжую, полезут, как медведи на мед. Будь осторожна. Если что, зови меня, я им быстро рога пообломаю».

Она не спрашивает о моей болезни, о причинах приезда сюда. Всегда зовет к себе, угощает чем-нибудь вкусненьким, а сегодня подарила томик стихов. Лорки. Новое издание, на русском языке. Откуда взяла – один Бог знает. Книжку Начо подписала размашисто фиолетовыми чернилами: «Сестра! Черная полоса иногда становится взлетной. Я рыжих терпеть не могу, а ты стала первым и последним исключением. Прорвемся! Твоя старая клоунесса с картонным мечом.

Начо».

Я стояла в тесной прихожей под угрюмой люстрой, вертела в руках книгу Лорки и редела. Начо вытирала мои слезы рукавом своей безразмерной блузки, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Хорош реветь, Север! И давай быстрее проваливай, а то я в штаны надую». Я сажусь на лестницу в подъезде, и Пако просыпается, подбегает ко мне. «Привет, малыш! Завтра после работы сходим с тобой к ветеринару, а оттуда напрямиком ко мне, домой. Теперь ты не будешь спать на холодных лестницах. Усыновляю тебя».

Закуриваю сигарету, выхожу на ночную улицу. Тишина. Еле слышно дыхание набережной. Все же есть люди бесконечные, как космос. Много с кем можно улыбаться, смеяться от души, говорить всякое-всякое. А вот большая редкость, когда с кем-нибудь рядом можешь себя забыть. С Начо и еще с несколькими женщинами Овального города это получается даже у меня.

11

Мама называла меня Севером. Хотя в документах у меня другое имя. Обычное. Четыре буквы, из них две одинаковые. Бабушка возмущалась: «Ну что это за имя, доченька?! Как можно называть Севером рыжую веснушчатую девочку, да еще такую ласковую?» Мама ухмылялась, не отвечала и уходила на кухню, где курила любимый «Беломорканал», выдыхая дым в форточку.

Она почему-то запомнилась мне именно такой. Прямая спина, темный костюм, белая рубашка с пышным воротником, сухая английская худоба, волосы заправлены за уши. На фоне нашего кухонного окна с приоткрытой форточкой.

Мы жили в двухкомнатной «сталинке» с протекающими кранами, почти в центре Москвы. Мама была человеком трудным, конфликтным, вся из углов, локтей, подозрений. Обеденный стол в гостиной всегда был завален ее бумагами, папками, журналами. Она была суетлива и вдумчива, вся в работе. Завкафедрой МГУ. Это не шутки. Не было у нас ни шумных посиделок с друзьями, ни воскресных пирогов – было не до домашнего уюта.

Меня вырастили бабушка с дедушкой. Маму я тоже любила – именно «тоже». Мы не были близки, похожи. «А ты – вся в бабушку! – роняла она будто с упреком. – Веселишься, смеешься, живешь одним днем. Совсем не думаешь об образовании, карьере. Анна Павловна уже научила тебя месить тесто?»

Бабушка никогда не отвечала маме, лишь обиженно супилась, шепча под нос молитву. Если наталкивалась на мой недоуменный взгляд, то принималась оправдывать резкость единственной дочери: «У нее работа тяжелая. Все одна да одна. Сама выучилась, вырвалась из Архангельска, переехала в Москву, квартиру получила. Она сильная. И работа тяжелая. Да, тяжелая... работа».

Я, маленькая пампушка с веснушками по всему лицу, не понимала, что значит «вырваться из Архангельска», что такое тяжелая работа и почему она влияет на отношения в семье. Мне было обидно за бабушку. О себе я как-то не думала. Я просто привыкла к такой маме, особенной, с тяжелой работой, хотя и жалела, что она у меня не такая, как мама Тани Кудрявцевой с третьей парты, которая на большой перемене подкармливала дочку картошечкой в масле, вареными яйцами и сочно хрустящими огурцами. До сих пор помню их запах.

В девять лет я написала маме записку и положила ей под подушку. В записке спросила о том, о чем не решалась спросить вслух. Боялась даже не реакции мамы, а чего-то другого – странного и необъяснимого. Боялась самого ответа? Боялась открыть форточку в своем мире, куда ворвется ледяной ветер и все самое теплое, полученное от бабули с дедулей, покроется инеем?

В записке я написала: «Мамочка, почему ты называешь меня Севером?» Ответа не было. Зато на следующий день я услышала, как мама ругалась с бабушкой по телефону: «Стоит ей побыть у тебя неделю, как она становится... инфантильной! Да, мама, именно! Из-за тебя моя дочь отделилась от меня. Вчера она написала мне записку и спросила, почему я называю ее Севером. Я узнаю ваши ходы, Анна Павловна! Молчишь, молишься, а своего все равно не упускаешь».

Тогда я не получила ответа на вопрос. Только за два дня до смерти мамы я снова спросила ее об этом. «Ты всегда была вдалеке от меня. Между нами всегда было холодно».

Я ведь любила ее. Какие бы сложности ни пролегли между нами, я чувствовала, что и она меня любит. По-своему – молчаливая, с угрюмым взглядом, стоящая у

кухонного окна родная женщина. И я никогда не была недолюбленной – благодаря бабушке, буквально затопившей меня океаном тепла, внимания. Она постоянно напоминала мне: «Мама у тебя умница. Целый день работает, ее уважают, на конференции приглашают. Она старается для тебя. Потому что любит тебя и хочет, чтобы ты хорошо училась. Каждую ночь, когда ты спишь, звонит, спрашивает о тебе, о твоих оценках. Я ей говорю, что Север нас не подводит, она тоже умница».

Бабушка прижимала меня к себе, целовала в затылок, а я дышала ее нежным дрожжевым запахом и рассматривала крестик на белоснежной груди с россыпью красных родинок. А когда наше объятие размыкалось, я видела ее мокрые сиреневые глаза, из которых вытекали прозрачные крупные слезы: «Бабуль, ты плачешь?!»

«Не обращай внимания, солнышко! Я всегда плачу, когда молюсь. За Катю».

12

Я почти научилась не думать о тебе. Порою все-таки тянет позвонить, сказать об этой моей победе. Чтобы ты не обольщался относительно своей исключительности. Чтобы не думал, что я уехала в другую страну, потому что боялась жить там, где легко встретить тебя. Я бы сказала тебе это, нажала «отбой» – и разом выдохнула бы из себя то странное время, когда ты заслонял собой весь мир.

Между прочим, за годы с тобой я так ни разу и не услышала «Я люблю тебя». А ведь ты говорил, что я тебе дорога, что ты беспокоишься, когда я не рядом с тобой. Ты вообще неразговорчивый, больше молчал. Я связывала эту сдержанность с тем, что ты не такой, как все.

Совсем-совсем другой – мужественный, далекий от проявлений сентиментальности: «Любит, конечно, но не говорит об этом». Ты же был заботливым, учтивым. И я уговаривала себя: «Север, угомонись, зачем тебе слова, если есть поступки?»

Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого недостаточно?» В тот момент я еще раз убедилась, что способна по-бабски приукрасить абсолютно все – свою жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир. Женщины – прирожденные художники-декораторы. С кистью в руках и мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то подтираем, что-то замазываем. Только вот, как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с натуры, а идя на поводу у фантазий, желаний: и вот оно – сплошное несоответствие с действительностью. У меня так и получилось. Хотя я ни о чем не жалею. Было много хорошего.

Помню, как мы развлекались в вечерней давке метро, определяя по поведению человека, на какой станции он сойдет. Я ошибалась – ты угадывал. А еще помню калейдоскоп приключений в Италии, куда мы сбежали тайно, никого не предупредив. Даже на работе не сказали об отъезде: знали же – все равно не отпустят. Да и нам было плевать. Выгресли последние деньги, купили билеты, оформили визы и уехали, не задумываясь, что будет после нашего возвращения и на какие деньги проживем остаток года.

Гуляли по Риму, пили лимончелло, объедались таким количеством пасты, что на четвертый день с трудом застегивали пуговицы на джинсах. Мы сидели на камнях с тысячелетней историей, вели один дневник на двоих, где ты писал черными чернилами, а я красными, и безуспешно старались заниматься любовью беззвучно – стены в квартире, которую мы сняли, были будто из папиросной бумаги.

Я ушла с высоко поднятой головой, легкой походкой. Автоматическим движением нажала на кнопку лифта, зашла в кабину. Двери закрылись, и я разревелась. Не хотела, чтобы ты видел мое поражение. На тот момент я, дура, считала это своим поражением: меня вдруг стало так мало, что еще чуть-чуть – и совсем растворилась бы в собственном горе.

Неделю просидела дома. Курила на подоконнике, плакала над фотографиями, закладывала белье в стиральную машину. Перестирала весь гардероб. Вытаскивала из барабана мокрые вещи – и мне казалось, что это частички обновленной меня, свободные от пыли воспоминаний. Все же я оплакивала потерю не любимого человека – скорее надежд и планов, которым предавалась в твоих объятиях, к которым страстно привязалась. А это было всего лишь хорошее время, многому меня научившее.

Мне осталось собрать все, что к нему относится, и выпустить из себя на волю. Что меня держит в прошлом? Да ничего. Наверное, привычка. Или груз отношений. Жаль потраченных сил – так не хочется оставлять на пляже замок из песка, который ты целый день строил под палящими лучами. Но, как бы ни тянуло назад, какой бы неизменной в сомнениях и нерешительной в поступках ты ни была, все равно наступает день, когда делаешь то, что давно было пора сделать.

Когда скучаешь по человеку, первый импульс – заменить его другими людьми. Нескончаемой вереницей романов. На худой конец – книгами, шоколадом, виски. Но это не замена, как мы думаем, а ничтожный самообман. Рано или поздно поймешь, что заменить бывшее не в силах, да и не нужно этого делать. Лучше снять с себя старую одежду, какой бы любимой она ни была, и облачиться в новую. Пусть это будет желтая рубашка – как раз вчера зашла в магазин, купила себе такую. Желтую, как солнечный день.

13

Меня спрашивают о прошлой жизни, а я мало говорю. Жители Овального города неуловимо похожи друг на друга – светло-шоколадным цветом кожи, красивым разрезом глаз, широкими бровями и извлечением гортанных звуков. Они не любопытны по природе, но стоит появиться человеку с внешностью чужака, обязательно спросят о корнях.

Здесь важно, где ты начинался. Как они говорят – «выбрал будущее». Я удивляюсь и отвечаю, что будущее не выбирала, тем более такое. Череда обстоятельств – не было никаких планов и стремлений. «Мы сами определяем направление ветра. Нет ничего важнее, чем принять ответственность за еще не совершенные шаги». В Овальном городе всегда получаешь многослойные ответы. Сначала эта манера кажется излишне цветистой, потом задумываешься, со временем улавливаешь в сказанном важный подтекст. Здесь с детства учат гордиться воспоминаниями. «Город гордых воспоминаний» – я вычитала эту фразу в путеводителе еще до приезда сюда.

Однажды во время перекура я спросила Сома: «А как гордиться нажитым, если оно болезненно?» – «Север, сначала твоя жизнь должна стать до конца твоей. Знаешь, когда это произойдет? В день, когда ты смиришься с тем, что жить без боли невозможно. Каждый из нас живет с болью, другое дело – как ты к ней относишься. Как к боли бессмысленной и изнуряющей – или как к боли, приближающей тебя к исцелению. Страх начинается в изоляции, но закончиться он должен непременно обретением силы».

Она поливает тонкие кружочки моркови, вымоченные в соке незрелого винограда, маслом грецкого ореха и посыпает красным перцем. Эту закуску называют «Слезы младенца», она подается к жирным мучным блюдам. «Сома, у вас что, все женщины такие мудрые? Или только те, кого я встречала?» Она остается серьезной. Взглянув на меня искоса, говорит, понизив голос, как будто делится секретом: «Мой тебе совет – ничего не планируй. Достаточно плыть по течению и улыбаться».

На часах шесть вечера. Я снимаю рабочую форму из тонкого полиэтилена, расписываюсь в журнале сотрудников, захожу в туалет. Открываю кран, вода напористо гудит. Смотрю в зеркало, дежурно оценивая, как выгляжу, и вдруг замечаю бегущие слезы. Меня накрывает обжигающая волна сожаления.

У нас ведь все могло быть иначе. Если бы ты не отпустил мою руку, если бы мне хватило храбрости выносить нашего ребенка. Ненавижу эти «если бы» – они бессмысленны, пусты. Но у любой женщины есть мысли, начинающиеся с «если бы», как бы много она ни преодолела, как бы много ни отвоевала. Эти мысли опасны, они бегут по кругу в самые горькие моменты и никогда не находят своей точки.

Я приехала сюда, чтобы избавиться от страхов. Не бояться вспоминать. Надеюсь, у меня хватит времени справиться со всей этой психотерапией. Только после этого моя жизнь станет до конца моей.

Сегодня я помню даже больше, чем вчера. Как мы любили весенними вечерами заглядывать во двор аккуратного домика на Пречистенке. Там когда-то давно были конюшни, а со временем появились жилые дома и всякие мастерские. И – особенная атмосфера.

Когда я вспоминаю о Городе непогод, где родилась и выросла, то мысленно отправляюсь в этот магический дворик на Пречистенке. Там позапрошлой осенью ты обнимал меня, заплаканную и обиженную на всех стоматологов мира. Мне тогда вырвали зуб мудрости. Он оказался настолько мудрым, что не хотел вылезать. Рвали мучительные полчаса, боль даже анестезия не смягчила.

Еще я помню те вызовы, которые мы бросали февральскому холоду, когда часами шли домой пешком. Мы торопили весну, усердно утапывали хрустящий снег, и ты, смеясь, рассказывал, как на двадцатилетие исполнил свое самое большое детское желание – попробовал еду космонавтов: «Друзья где-то отыскали и подарили мне шоколадное мороженое в тубике. Я попробовал. Странные ощущения, скажу тебе. Оно сухое и теплое, но во рту вкус настоящего мороженого! Еще и чаем можно запить!»

Я поражаюсь и себе, и силе Овального города, дающего возможность заново научиться совершать простейшие действия. В цветных огнях его бессонных кварталов вижу картинки другого времени. Вспоминаю больше обычного. Нечаянные прикосновения, путевые пейзажи, стертые подошвы босоножек, долгожданные объятия после разлук, разлитый на белой скатерти апельсиновый сок, малину у дачного забора, щелчки твоего фотоаппарата, мою улыбку на черно-белых снимках, сухой от солнца асфальт и даже дурацкие споры. Я все помню. Вот только зачем?..

14

Мне ничего не нужно было от тебя, кроме любви. Такой обычной, человеческой. Ни трогательных записок в букетах цветов, ни красивых слов с того конца провода, ни плюшевых «заинька» и «солнышко» десятки раз в день. Я всего лишь хотела быть рядом с тобой.

Целовать твои предплечья, когда ты никак не проснешься под звон будильника, гладить тебя по небритой щеке – пора просыпаться, ведь через неделю наступит весна. Жарить твою любимую картошку с ветчиной, периодически оглядывая улицу из окна: ты вот-вот должен прийти с работы и я встречу тебя с уже открытой дверью и скажу: «Ужин готов». Растить нашего сына и искать в крошечном личике твои черты: пристальный взгляд и почти незаметную ямочку

на подбородке – я бы рассказывала ему старую сказку о белых тюльпанах, которую выучила, кажется, еще в раннем детстве по движениям читающих бабушкиных губ.

Я жалею о своей непростительной глупости влюбленной дуры, жалею, что пошла на аборт. «Мне не нужен ребенок. Сейчас». И я, разбитая и отчаявшаяся, согласилась на это, на следующий же день решив уйти совсем. Я хотела уйти пустой, без твоего запаха, без каких-либо напоминаний о тебе. Не оправдываю себя. Расплачиваюсь за это грузом вины – худшей кары быть не может. Сожаление изо дня в день, с утра до ночи разгрызает сердце, медленно убивает.

Я жалею, что вечно пыталась что-то придумать для нас, развязать твоё молчание своими вопросами, шутками. Я ругаю себя за это, за все. Только себя одну.

...Пью кофе в аэропорту, жду начала посадки. Через несколько часов я буду на другом краю света. Зазвонил мобильный. «Вызов: неизвестный». Я поменяла номер, и его знают только три человека. «Алло?» Тишина. Я узнаю тебя по тишине, по твоему молчанию. Ты ничего не говоришь. Если бы у тебя хватило смелости, ты, наверное, спросил бы: «Как ты?» Это твоё любимое начало разговора. А я не знаю, что ответить.

Наверное, я бы дала слабинку – разревелась, прокричала бы, как ненавижу тебя. Когда в слезах кричишь «ненавижу», значит, внутри еще громче кричишь «люблю». Или даже «все еще люблю». В тот день в аэропорту я попрощалась с тобой молчанием. С мужчиной, который не любил меня так, как я ждала.

В глубине души я не верю, что ты ничего не испытывал – невозможно не любить человека, к которому ты сбегашь, не закончив рабочие дела, чтобы вместе съездить в маленький парк на окраине, где цветут вишни. Что это значило для тебя? Что это вообще значит для мужчины?

Но иногда мне кажется, что я тебя придумала.

Начо, выслушав мою историю, молча закурила. Она первый человек в Овальном городе, которому я открылась. Сербка с разбитым сердцем теперь знает обо мне почти все. «Вот так, Начо, я вдруг поняла, что никому не нужна в родном городе. Там меня никто не ждал, только горькие воспоминания». – «Ох, Север!.. Плохо не

тогда, когда ты никому не нужна или когда тебе никто не нужен. Намного хуже, когда тебя просто нет – некому что-либо хотеть. Умей улыбаться настоящему – ты выстояла, ты здесь».

Я встаю из-за стола, медленно подхожу к окну, приоткрываю форточку. Черт знает какая по счету эта сигарета – я прямо как мама... «Когда же мне полегчает? Я стараюсь крепиться, не погружаться в жалость к себе». – «Полегчает тогда, когда ты обретешь новую точку опоры». Начо допивает кофе, резко переворачивает чашку – собирается погадать. «Что ты хочешь сказать?» Она подходит ко мне, садится на подоконник: «Послушай, Север, что бы я или кто-то другой ни сказал, все это может оказаться верным для тебя, а может – нет. Что такое точка опоры? Это то, что держит человека в этом мире, – мама, ребенок, собака или дерево. То место, где ты выросла и откуда берешь энергию. Или какой-то другой город, прежде незнакомый. Может быть, эта точка – в расставании с прошлым. В любом случае, найди ее, и бури пройдут, а ты снова встретишь солнце».

Когда-то, в сложный период душевных терзаний, я предпочитала выжидать, чтобы все решилось само собой. Вероятно, это проявление слабости перед лицом судьбы, но зато срабатывало. Но, может, так и нужно – только ждать, а не действовать, пытаюсь решить проблемы настойчивостью и усердием?..

15

«Измученный он, конечно. Поправится, не переживайте! Теплый дом, бережный уход и любовь помогут. Эта порода отличная – оттерхаунд. Невероятно дружелюбные псы, правда, упрямые...» На последние слова ветеринара хочется ответить: «Ну прямо как я».

Доктор Сингерман надевает на Пако намордник и передает пса помощнице – милой девушке с добрым лицом. Она выстрижет колтуны, искупает его, расчесет. Он рычит, недоверчиво косится на ветеринара, но в руках его симпатичной помощницы моментально смирнеет и поднимает хвост. Дело в том, что Пако не любит мужчин.

«У него отит. Выпишу капли и витаминный комплекс». Спрашиваю доктора о возрасте Пако. «Он взрослый парень, в расцвете сил. Можете не беспокоиться о возрастных проблемах, наслаждайтесь жизнью». Я хочу ответить Сингерману что вынуждена думать о времени, потому что мой диагноз ускоряет стрелки часов, но опять сдерживаюсь. Какой бы ни был исход событий, Пако больше не будет прогнан, забыт, избит. Я об этом позабочусь.

Спустя три часа мы с ним возвращаемся домой. Пако знакомится с новой территорией, одобряет ее и решает выбрать себе место по вкусу. В итоге тридцатикилограммовая тушка разваливается на диване в гостиной, а я берусь за пирожки. Сегодня у нас в гостях будет Сома. Нарезаю капусту тонкой соломкой, закидываю ее в кастрюлю с толстым дном. Немного виноградного уксуса, нерафинированного оливкового масла, черного перца горошком, воды. Закрываю крышку и тушу на маленьком огне.

Я любила бабушкины пирожки с капустой. Такими вкусными они ни у кого не получались. На мое девятнадцатилетие мы жарили их вместе с Анной Павловной. На большой кухне ее деревенского дома. Я тогда тяжело переживала разрыв с первой любовью и, желая убежать от реальности, села в поезд, идущий напрямик в мое детство. В ту самую деревушку с дорогами в томатных шкурках.

Бабуля месила тесто, я наблюдала за ее действиями, украдкой утирая произвольные слезы. «Он тебя любит, деточка! Просто молодой еще, зеленый... Ревность в мужчине должна быть. Но ее не должно быть видно, как соли во вкусной еде. Да и от женщины многое зависит – часто ревность вызывает недостаток открытости в отношениях. Если у ее «собственного пространства» слишком высокие стены, то он это чувствует, начинает изводить. Весь секрет в уступках, а ты подпусти его к себе ближе».

Пока бабушка моет руки, я накрываю тесто вафельным полотенцем и переставляю тазик поближе к печи. «Бабуль, а женская ревность тоже такая страшная? Я вот еще никогда не ревновала...» Она мелко крестится: «И слава богу! Бабская ревность – это совсем другое. Не скандалы и расспросы, это только у истеричек бывает, а тихое отчаяние и страхи. Когда их прячешь, чтобы удержать его, становится только хуже... Женщины должны все, что на сердце, открывать».

Я получала поддержку от бабушки в дневное время, а когда она ложилась спать, моей советчицей становилась Цветаева. Я читала, обливалась слезами и мечтала стать мудрой и спокойной. Чтобы проблемы вообще исчезли. Ну или пусть останутся небольшие: например, надеть юбку или брюки?

Однажды Анна Павловна увидела у меня в руках этот томик, взяла его, перелистала и покачала головой: «Девчонки любят читать Марину Цветаеву, а я говорю – берегись ее стихов. Она совсем не похожа на земных женщин, вся-то из боли. Будто стоит на морозе голая, вывернутая наизнанку, и слова у нее тоже все вывернуты, как карманы. Смотреть стыд, а жить так – больно... Ты другие стихи почитай – вот Анну Ахматову хотя бы. Царица! Сильная...»

Я смотрела на бабушку, которая не жила в больших городах, не училась в университетах, посвятила свою молодость дедушке, врачу-педиатру, – и удивлялась. Ее зрелости, вкусу, смелости. Как по-настоящему она мыслила, самостоятельно, на основе опыта.

«Я за твоего деда в семнадцать вышла. Он был хороший, но жутко требовательный – случалось и стукнет, как что не по нем. Царствие ему небесное! Я за ним ухаживала, потом за детьми – когда было учиться? За меня Катька отучилась».

Вот бы бабушка сейчас была рядом! Слушать ее, верить, не сомневаться в каждом шаге, очень многое понимать и – молчать. Быть на своем месте. У меня это получалось только с Анной Павловной.

Но ее нет, а мне пора браться за тесто.

Сома сдержанная и ранимая. Раненая. У раненых женщин взгляд смелый, проникновенный. В глазах стальной блеск, который вырабатываешь годами, а потом изо всех сил пытаешься сохранить. Только бы не размякнуть – непозволительная роскошь. Это еще и риск: если единожды опустишь руки, то, быть может, они больше не поднимутся. Нет уверенности во «втором разе».

Поэтому лучше не рисковать.

Овальный город навестила весна, хотя по радио назавтра обещали дождь. Она еще растерянная, несобранная, с сонным солнцем в ладонях. Но зато короткое появление весны означает, что скоро она вернется с чемоданами и надолго. Такие дни, как сегодняшний, я про себя называю «бабушкиными». Потому что и запахи, и ветерок, и птицы – все именно так, как тогда. Я просыпалась в бабушкином доме, комната была наполнена светом, накрахмаленная простыня хрустела подо мной, и казалось, что от кончика носа до заоблачного рая каких-то пара шажков.

Я люблю весну. Солнце заливает все вокруг ослепляющим светом – в ботинках уже жарко, а в туфлях еще холодно. Лето, правда, лучше. Больше определенности. Знаешь, что тепло уже законное, и все.

Вынесла кухонный столик на балкон, где мы и расположились. Пако вяло отреагировал на появление нового человека, пока не привык к дому, мысленно он на улице с непрекращающимся потоком людей. «Молодец! Пирожки восхитительные. Научишь?» – «Конечно, Сома! Я тебе с собой тоже дам, много напекла». Она вдруг перестает улыбаться. Мелкими глотками отпивает барбарисовый лимонад. Ее горло дергается по-птичьи, распущенные волосы развеивает морской ветер, и они липнут к густо накрашенному рту. «Спасибо. С собой не надо». Я не сразу поняла причину такой категоричности. Пыталась настаивать.

Только под конец вечера она показала в мобильном телефоне фотографию Сию. Худенькой девочки с длинными каштановыми волосами и такой же смуглой кожей, как у мамы. «Сию у меня любит компот из боярышника и фейхоа. В прошлом году аж тридцать банок закрутила. Полпогреба забила, представляешь?»

У Сию целиакия. Это такое заболевание, при котором нарушено пищеварение и многие привычные для других людей продукты вызывают сильнейшее отравление. Например, хлеб, макароны, выпечка. «А она, как назло, обожает мучное! Приходится покупать безглютеновые продукты. Они не только дорого стоят, их еще найти нужно... Мой Альфредо мало зарабатывает.

Ночами выезжает с друзьями в море, глушат рыбу... А я каждое утро просыпаюсь в страхе, ищу мужа. Вдруг с ним что-то случилось и он не вернулся с моря».

В дневное время, пока Сома работает, за Сию присматривает Альфредо. Я предлагаю забирать малышку к себе: «Я не очень лажу с маленькими детьми, если честно. Говорю с ними как со взрослыми, не сюсюкаю. Но уж с пятилетней девочкой я найду общий язык, да и Пако будет с нами». Сома встает, берет сигарету, облакачивается о перила балкона: «Север, а знаешь, чего мне хочется? Упасть в кровать и проспять сто лет, и, когда проснусь, чтобы больше не было ни болезней, ни смертей. Никогда. Ты бы жила в таком мире?»

Я задумчиво разливаю нам лимонад: «Наверное, нет. Болезни и смерть учат нас ценить жизнь. Хотя я и не знаю, почему вариант только один. Вот я люблю жизнь, и мне нравятся люди вокруг. Но не хожу же я по улицам с улыбкой идиота, смахивая пыль с каждого листочка! Получается, с ценностью жизни у меня вообще затык. Сама жизнь часто противоположна словам, сказанным о ней».

Сома кивает, тушит сигарету: «Ну, Север, у тебя еще все впереди. Глядишь и научишься по-идиотски улыбаться».

Мы возвращаемся за столик, сиреневой скатертью на нем поиграл ветер – завернул в затейливый сверток. Пако проснулся и поскуливает у двери. Пора на прогулку. Сома стирает салфеткой алую помаду и достает из сумочки другую, коричневого цвета. Предлагает и мне. «Не мое, спасибо... А я болею, Сома. Неизлечимо. Так что с “впереди” у меня проблемы».

«Север, мы все смертны внезапно. Может, в выигрышном положении как раз тот, кто знает свой срок. Я так часто оказываюсь рядом со смертью, что уже ничего не боюсь. И ты не бойся... Посуду мою я, никаких возражений! А ты сходи выгуляй этого красавца».

Я давно не вижу тебя. Сменила номер телефона, удалила все твои контакты. Научилась сдерживаться, когда непрошенные слезы выдают тоску, и прятать руки в карманы, когда они сами собой сжимаются в кулаки от ярости. Я бодро отвечаю на вопросы, общаюсь с людьми и временами танцую, когда музыка веселая и не напоминает наших с тобой песен. А еще я много работаю. Все вроде неплохо, но все это... игра. Когда-то я жаловалась тебе, что не смогла найти дело жизни, призвание. Ну, как у тебя. Так вот, я нашла! Теперь я хорошая актриса. Одной роли.

Я боюсь долгих дорог. Мрачных трасс, сливающихся в монотонную картинку за окном автомобиля. До вчерашнего дня я садилась на заднее сиденье такси и, прислонившись к окну, смотрела на ленту из неинтересных пейзажей, на которых яркими слайдами оживали ты, я. Мы с тобой. До вчерашнего дня эти картинки согревали. Я словно перемещалась в их атмосферу и снова чувствовала свою руку в твоей руке, слышала твой голос. Когда-то я сказала, что в тебе все хорошо, кроме голоса. Что он слишком мягкий, неуверенный, что ли. Ты тогда, кажется, обиделся. Знай: я сейчас скучаю именно по твоему голосу. По твоему смеху на том конце провода. По твоим словам, которыми в последнее время говорю я, представляешь? Сегодня впервые села на переднее сиденье, рядом с водителем, и впервые закрыла глаза. Я не хочу больше никаких картинок, тебя и себя в них. Нас, которых больше нет.

Как-то я справлялась о тебе у общих знакомых, с которыми поддерживаю редкую связь. Они передали, что у тебя все хорошо, ты коротко постригся и даже завел какие-то новые отношения. Я слушаю, злюсь, ругаю себя за то, что и здесь, в другом городе, не перестаю интересоваться твоей жизнью, пытаюсь повторять бесстрастное выражение. «Я рада. Рада, что у него все хорошо. И у меня тоже... прекрасно». Последнее слово как можно увереннее. Улыбка. Занавес. Роль сыграна... Вот так я вру. Ненавижу себя за эту ложь. Но я должна, должна быть сильной, чтобы все-таки стать счастливой. Я хочу привыкнуть быть счастливой без тебя.

Я встречаю новых мужчин. Скорее, просто наблюдаю за ними, не подпуская близко. Некоторые из них приглашают на кофе, и я соглашаюсь. Чтобы посмотреть на них и в очередной раз убедиться, что никто не сравнится с тобой. Ты остался самым-самым. Я не идеализирую, я не помешалась, наоборот, сейчас мыслю трезвее, чем когда-либо. Время расставило все по своим местам. Кто-то из этих мужчин красивее, кто-то умнее и намного самоувереннее. Но что мне за дело до них? Ни у кого из них нет таких глаз и рук, как у тебя. В твоих глазах

мне мерещилось море, которое с детства люблю больше всего. В твоих руках была надежность, которая сильнее любых слов. Я просто касалась тебя – и чувствовала, как шумные волны внутри меня успокаиваются, умирят страхи и сомнения. А еще я мечтала, чтобы у нас был ребенок и чтобы у него были такие же глаза с морем внутри. Но ты его не принял.

Я пишу, мне легчает. Быть может, со стороны это выглядит жалко и смешно, но мне плевать. Спасибо за то, что было, пусть было не так много. Странно представить, что тебя могло и не быть. Спасибо. Хорошо, что ты есть. Я желаю тебе побед и радости и никогда ни о чем не жалеть. И себе я желаю того же...

18

У нас снова холода, я целыми днями старательно генерирую тепло, но, кажется, мои ресурсы подходят к концу. Завернувшись в плед, сижу перед окном. За ним набережная в пене тревожных волн и прохладный ветер, который забирается за ворот куртки незнакомого прохожего, забавно вздымая ее. Я пришла с работы, сняла ботинки, заварила ромашковый чай и больше ничего не делала. Только перед сном прогуляюсь с Пако.

Сегодня день нахлынувшей пустоты. Трезвонит телефон, два раза стучались в дверь. А я чувствую себя попугаем, на клетку которого накинули одеяло. Хочется молча смотреть за окно, попивая что-нибудь согревающее. Трудно общаться.

Меня снова затянуло в Город непогод, во время, прожитое там. Вчера, пока я писала письмо, поняла причину, почему любила так самоотверженно, самоуничтожающе и подолгу не отпускала мужчин из своей жизни. Хваталась за них, как тонущий пловец за последние глотки воздуха. У меня не было отца. В детстве, юности я этого как-то не ощущала. Дедушка с бабушкой, мама с суровым характером закладывали эту дыру кирпичами внимания, заботы. Я у них была одна, и любовь трех совершенно разных людей не давала мне почувствовать своей обделенности.

В нашем классе, группе, потоке безотцовщина была почти нормой – знакомым и уже привычным семейным укладом. Если кто-то из ребят из-за этого переживал,

то по меньшей мере не обсуждал со сверстниками. Я даже не переживала, пока за день до моего двадцатидвухлетия к нам домой не пришел высокий абсолютно седой мужчина. Когда-то он был рыжий. Мама провела его в комнату, где я гладила голубое атласное платье на завтрашнее торжество, и совершенно бесстрастно сказала: «Познакомься. Это твой отец. Сергей Владимирович».

Каждая женщина только раз встречается мужчину, который делит ее жизнь на две части: до встречи с ним и после. Для меня этим мужчиной стал Сергей Владимирович. Папой я его так ни разу и не назвала.

Сергей Владимирович подошел, протянул мне руку. Я кивнула. Бабушка, бывало, повторяла: «Когда, казалось бы, ничего не происходит, что-то все равно происходит». Ничего болезненного или приятного я не почувствовала. Выключила утюг, буднично пошла на кухню. Чай заваривать. Лишь проходя через прихожую и увидев у порога большие коричневые туфли нежданного гостя, я вдруг поняла, что все это время, все эти два десятка лет где-то в глубине души я искала – чего-то недостающего, необходимого. Чего именно, не понимала, потому что изначально не знала, что это такое – папа.

В ту минуту меня будто вытолкнуло давлением из высокого сосуда с плотной пробкой. Как джинна. Оказывается, Север, есть другая форма жизни, о которой ты не подозревала, будучи за прозрачными стеклянными стенами.

Мама познакомилась с отцом в институте. Второй курс, гуманитарный факультет. Много красивых слов, беседы о поэзии и философии, стопки «Иностранной литературы», горячие обсуждения самиздатских журналов, горящие глаза, вечерние звуки гитары в тесноте общежитских комнат.

Он долго признавался в любви, она долго держала оборону. Потом сдалась. Влюбилась. У них было полтора года красивой истории. Мама забеременела, как это часто случается, неожиданно. Сообщила ему. Он вдруг струсил: «Что ты собираешься делать с ребенком? Сейчас не время, у меня, ты же знаешь, докторантура». Мама отвернулась и ушла. Спустя положенное время родила рыжую девочку, вскоре устроилась на вечернюю работу. Пока меня растили дедушка с бабушкой, мама из института бежала на ткацкую фабрику.

Он вспомнил обо мне спустя двадцать лет. Робко вошел, выпил чаю, неловко попрощался и как-то грузно шагнул за порог. Своими большими коричневыми

туфлями. Потом, обнимая мужчин, я часто ловила себя на мысли, что обнимаю отца. Прижимаюсь к нему крепко-крепко, не желая возвращаться обратно в стеклянные стены под плотной пробкой.

Вот только в реальности это были чужие мужчины – и я не знала, как отнестись к факту, что у меня теперь есть отец. Мы так и не построили отношений.

Незадолго до отъезда, разбирая вещи, в дальнем углу шкафа я нашла кассетный плеер. Лет пятнадцать назад мама подарила мне его на Новый год. Редчайшая была вещь – портативный, цеплялся на пояс. Я держала его в руках, рассматривала, не зная, что с ним делать и как его, такой огромный и бессмысленный, использовать. Так и в жизни чаще всего: сначала хочешь-хочешь, потом получаешь – и в итоге думаешь: а что с этим делать?

19

Во мне живут два человека. Один вечно отчаивается и защищается, у него «fuck off» на лбу написано. Второй отбивается, тщательно маскирует следы поражений и сломя голову несется навстречу жизни. Никак не сведу их в одно целое.

Рабочий день в разгаре. Посуда звенит и скользит в моих руках. Я беседую с ней, рисуя пальцами вопросы на фарфоровых поверхностях. Вот эта тарелка рассказывает о женщине с пепельными волосами, которая ела спаржу под соусом *beurre blanc*, – она живет в бесконечном ожидании. И могла бы еще долго выступать за команду «немного за тридцать», если бы не выдавал взгляд, в котором живет красота, но не осталось надежды.

А вот пиала, на ее краях бледно-красными кольцами застыли остатки томатного супа. Его съел угловатый гей с лицом свежим, как персик. Он любит пианиста из Овального города, ленивые песни Норы Джонс и скучает по родному Нью-Йорку. По серым небоскребам, галдящей суете, круассанам с кофе в шесть утра, когда Бруклинский мост еще сонный, а светофоры глазают сквозь рассветный туман.

Да уж, как было бы скучно, если бы люди внутри были точно такими же, как и снаружи. Не надо никого разгадывать, не нужно никого узнавать – все видно с первого взгляда. Я слушаю обрывки историй героев Города гордых воспоминаний, периодически бегаю на перекур в туалет, где из маленького окошка под потолком слышен шепот бриза. Торопливо домываю оставшиеся приборы – скоро конец рабочего дня.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Плачет Сариа» (исп.).

Купить: <https://tellnovel.com/elchin-safarli/esli-by-ty-znal-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)